

К.И. Чуковский

Маяковский

I

Отношение мое к футуристам было в ту пору сложное: я ненавидел их проповедь, но любил их самих, их таланты.

В моих глазах они были носителями ненавистных мне нигилистических тенденций в поэзии, направленных к полному уничтожению той проникновенной, гениально утонченной лирики, которой русская литература вправе гордиться перед всеми литературами мира. В то же время многие отдельные вещи Елены Гуро, Василия Каменского, Хлебникова, Давида Бурлюка и других были в моих глазах зачастую подлинными произведениями искусства, и я не мог чувствовать себя солидарным с беспардонными газетными критиками, предававшими анафеме не только «будетлянство», но и самих «будетлян».

Несмотря также на свое неуважение к парфюмерной тематике Игоря Северянина, я высоко ценил его лиричную песенность и восхищался звуковой выразительностью многих его — пусть и фатоватых — «поэз».

Этим и объясняется то, что хотя футуристы официально враждовали со мной на эстрадах и в своих выступлениях, хотя во многих своих манифестах они едко ругали меня, валя меня в общую кучу своих оголтелых противников, но в жизни, в быту, так сказать за кулисами, у нас были отношения добрые: «будетляне» охотно навещали меня в моем уединении в Куоккале, читали мне свои опусы в рукописях, публично выступали вместе со мною в разных аудиториях и пр.

Свое двойственное отношение к ним я пытался выразить в обширной статье, над которой работал все лето 1913 года. О Маяковском в этой статье было сказано мало, потому что в немногих стихах, которые он публиковал к тому времени, он представлялся мне совершенно иным, чем вся группа его сотоварищей: сквозь эксцентрику футуристических образов мне чудилась подлинная человеческая тоска, несовместимая с шумной бравадой его эстрадных высказываний. Должно быть, я слишком субъективно воспринимал некоторые из его тогдашних стихов, но они казались мне раньше всего выражением боли:

Это душа моя
ключьями порванной тучи
в выжженном небе
На ржавом кресте колокольни!
.....
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!

Этими стихами в ту пору был окрашен для меня весь Маяковский.

Уезжая в Москву, я решил встретиться с Владимиром Владимировичем и поговорить с ним вплотную, так как мне хотелось дознаться, откуда в нем эта тоска, почему он ощущает себя «ораненной, загнанной ланью». Мне хотелось также выразить свое восхищение перед некоторыми из его отдельных стихов, которые я затвердил наизусть.

Словом, я заранее приготовил себя к задушевной и взволнованной беседе.

Но вышло совсем не то.

Приехав из Петербурга в Москву и зайдя вечером по какому-то делу в Литературно-художественный кружок (Большая Дмитровка, 15), я узнал, что Маяковский находится здесь, рядом с рестораном, в бильярдной. Кто-то сказал ему, что я хочу его видеть. Он вышел ко мне, нахмуренный, с кием в руке, и неприязненно спросил:

— Что вам надо?

Я вынул из кармана его книжку и стал с горячностью излагать свои мысли о ней.

Он слушал меня не дольше минуты, отнюдь не с тем интересом, с каким слушают «влиятельных критиков» юные авторы, и наконец, к моему изумлению, сказал:

— Я занят... извините... меня ждут... А если вам хочется похвалить эту книгу, подите, пожалуйста, в тот угол... к тому крайнему столику... видите, там сидит старичок... в белом галстуке... подите и скажите ему все...

Это было сказано учтиво, но твердо.

— При чем же здесь какой-то старичок?

— Я ухаживаю за его дочерью. Она уже знает, что я великий поэт... А папаша сомневается. Вот и скажите ему.

Я хотел было обидеться, но засмеялся и пошел к старичку.

Маяковский изредка появлялся у двери, сочувственно следил за успехом моего разговора, делал мне какие-то знаки и опять исчезал в бильярдной.

После этой встречи я понял, что покровительствовать Маяковскому вообще невозможно. Он был из тех, кому не покровительствуют. Начинающие поэты — я видел их множество — обычно в своих отношениях к критикам бывали заискивающи, а в Маяковском уже в ранней молодости была горделивость.

Познакомившись с ним ближе, я увидел, что в нем вообще нет ничего юркого, дряблого, свойственного слабовольным, хотя бы и талантливым людям. В нем уже чувствовался человек большой судьбы, большой исторической миссии. Не то чтобы он был спесив. Но он ходил среди людей как Гулливер, и хотя нисколько не старался о том, чтобы они ощущали себя рядом с ним лилипутами, но как-то так само собою выходило, что самым заносчивым людям не удавалось взглянуть на него свысока.

Поговорив со старичком сколько надо — а старичок оказался прелестный, — я поспешил уйти из ресторана. Маяковский догнал меня в вестибюле. Мы стали одеваться. Он с чрезвычайной учтивостью — одной рукой, так как в другой была трость, — помог мне надеть пальто, но то была учтивость вельможи. Едва только мы вышли на улицу, он стал вполголоса декламировать отрывки стихов Саша Черного, а потом переведенные мною стихи Уолта Уитмена:

Я Уитмен, я космос, я сын Манхаттана...

— Неплохой писатель, — сказал он. — Но вы переводите его чересчур бонбоньерочно. Надо бы корявее, жестче. И ритмика у вас бальмонттовская, слишком певучая.

Я сказал ему, что он, к сожалению, знает лишь юношеские мои переводы, которые уже давно забракованы мною, и что теперь я перевожу Уитмена именно так — не подслащивая и не лакируя его.

И я стал читать ему только что законченный мною перевод «Поэмы изумления при виде воскресшей пшеницы»:

Куда же ты девала эти трупы, Земля?

Этих пьяниц и жирных обжор, умиравших из рода в род?

— Занятно! — сказал он без большого восторга. — Прочтите эти стихи Бурлюку. Но все же в вашем переводе есть патока. Вот вы, например, говорите в этом стихотворении «плоть». Тут нужна не «плоть», тут нужно «мясо»:

Я не прижмусь моим мясом к земле, чтобы ее мясо
обновило меня...

Уверен, что в подлиннике сказано «мясо».

В подлиннике действительно было сказано «мясо». Не зная английского подлинника, Маяковский угадывал его так безошибочно и говорил о нем с такой твердой уверенностью, словно сам был автором этих стихов.

Таким образом, начинающий автор, талант которого я в качестве «маститого критика» час тому назад пытался поощрить, не только не принял моих поощрений, но сделался

моим критиком сам. В голосе его была авторитетность судьи, и я почувствовал себя подсудимым.

II

Дело кончилось тем, что мы оба пошли ко мне в гостиницу «Люкс» на Тверскую, чтобы читать Уолта Уитмена, так как многих переводов я не знал наизусть.

Был уже поздний час, и портье не пустил Маяковского. Я вынес свою тетрадку на улицу, мы остановились в Столешниковом переулке у освещенной витрины фотографа (я теперь вспоминаю всегда Маяковского, когда прохожу мимо этого места), и я прочитал ему свои новые переводы — их было много, и иные из них были длинные, — он слушал меня как будто небрежно, опершись на высокую трость. Когда же я кончил — а прочитал я строк пятьсот, даже больше, — оказалось, что он впитал в себя каждое слово, потому что тут же по памяти одно за другим воспроизвел все места, которые казались ему неудачными.

Из прочитанных ему стихов Уолта Уитмена он выделил главным образом те, которые были наиболее близки к его собственной тогдашней поэтике:

Водопад Ниагара — вуаль у меня на лице...

Запах пота у меня под мышками ароматнее всякой молитвы...

Я весь не вмещаюсь между башмаками и шляпой...

Мне не нужно, чтобы звезды спустились ниже,
Они и там хороши, где сейчас...

Солнце, ослепительно страшное, ты насмерть поразило бы меня,
Если б во мне самом не было такого же солнца.

При одной из следующих встреч Маяковский расспрашивал меня о биографии Уитмена, и было похоже, что он примеряет его биографию к своей.

— Как Уитмен читал свои стихи на эстрадах? Часто ли бывал он освистан? Носил ли он какой-нибудь экстравагантный костюм? Какими словами его ругали в газетах? Ниспровергал ли он Шекспира и Байрона?

Когда же я начинал рассказывать ему такие эпизоды из биографии Уитмена, которые не имели отношения к этим вопросам, он просто переставал меня слушать — переводил разговор на другое. Впоследствии я заметил, что ему всегда были невыносимы бесцельные знания, не могущие служить его боевым или творческим надобностям.

При каждом моем приезде в Москву мы виделись часто, почти ежедневно, но наши отношения в ту пору не сладились. Маяковский был то, что называется артельный, хоровой человек. Он чувствовал себя заодно с футуристами — с Хлебниковым, Василием Каменским, Крученых, Давидом Бурлюком, Николаем Ивановичем Кульбиным. Я же был посторонний и даже не слишком сочувствующий. Каждого человека эти люди, естественно, мерили тем, как относится тот к футуризму. Мне же футуризм был чужд, что, повторяю, не мешало мне дружить с футуристами, ценить многие их стихи и рисунки и отдавать должное их личной талантливости.

Ему хотелось, чтобы я любил его дело, а я любил только его самого. Этого ему было мало. Люди в ту пору интересовали его лишь с одной стороны — союзники они или враги. Я же был не союзник и не враг, и едва только Маяковский почувствовал это, он тотчас отошел от меня.

Но бытовым образом мы сблизились даже как будто теснее. Встречались у общих знакомых, он охотно бродил по Москве со мною и моими товарищами, рисовал мои портреты без конца (кое-какие из них сохранились у меня и сейчас), но ночные разговоры всерьез, начавшиеся было в первое время, уже не возобновлялись ни разу.

Тогда же, в 1913 году, я читал в Политехническом музее (и где-то еще) лекцию о футуристах. Это была модная тема. Лекцию пришлось повторять раза три. На лекции перебивала «вся Москва»: Шаляпин, граф Олсуфьев, Иван Бунин, сын Толстого Илья, Савва Мамонтов и даже почему-то Родзянко с каким-то из великих князей. Помню, Маяковский как раз в ту минуту, когда я бранил футуризм, появился в желтой кофте и прервал мое чтение, выкрикивая по моему адресу злые слова. В зале начался гам и свист.

Эту желтую кофту я пронес в Политехнический музей контрабандой. Полиция запретила Маяковскому появляться в желтой кофте перед публикой. У входа стоял пристав и впускал Маяковского только тогда, когда убеждался, что на нем — пиджак. А кофта, завернутая в газету, была у меня под мышкой. На лестнице я отдал ее Владимиру Владимировичу, он тайком облачился в нее и, эффектно появившись среди публики, высыпал на меня свои громы.

Зимой 1913 года я был в Луна-парке, в бывшем театре Комиссаржевской, и стоял в помещении для оркестра вместе с Хлебниковым и другими «бюджетлянами» — мы смотрели трагедию Маяковского «Владимир Маяковский» в которой главную роль исполнял он сам. Театр был набит до последней возможности. Ждали колоссального скандала, пришли ужасаться, негодовать, потрясать кулаками, свистать, а услышали тоскующий, лирический голос, жалующийся со страстной искренностью на жестокость и бессмыслицу окружающей жизни.

Большинство было разочаровано, но кое-кому в этот день стало ясно, что в России появился могучий поэт, с огромной лирической силой.

Своей лирики он всегда как будто стыдился — «в желтую кофту душа от осмотров укутана», — и те, кто видел его на эстраде во время боевых выступлений, даже не представляли себе, каким он бывал уступчивым и даже застенчивым в беседе с теми, кого он любил.

Принято утверждать, будто заглавие трагедии возникло случайно, благодаря недоумению; если это так, случайность была ему на руку: ведь главным действующим лицом трагедии является сам Маяковский, поэтому естественно было назвать трагедию «Владимир Маяковский» (думаю, здесь на поэта повлияло и то, что Уолт Уитмен ввел в «Песню о себе» свое имя).

Мало кому известно, что Маяковский в те годы чрезвычайно нуждался. Это была веселая нужда, переносимая с гордой осанкой миллионера и «фата». В его комнате единственной, так сказать, мебелью был гвоздь, на котором висела его желтая кофта, и тут же приютился цилиндр. Не было даже стола, в котором, впрочем, он в ту пору не чувствовал надобности. Обедал он едва ли ежедневно. Ему нужны были деньги, ему нужен был издатель всех его тогдашних стихов, накопившихся за три года. Однажды он повел меня к такому издателю, который, правда, еще ничего не издал, но разыгрывал из себя мецената. В доме у «издателя» была вечеринка, и на эту вечеринку он пригласил Маяковского. Когда мы вошли, на диване сидели какие-то зобастые, усатые, пучеглазые женщины. Это были сестры хозяина, финансировавшие все «предприятие». Маяковский должен был прочитать им стихи, и, если эти стихи им понравятся, они немедленно дадут ему аванс и приступят к печатанию книги.

Обстановка квартиры была привычно уродливая: плюшевые альбомы салатного цвета, ракушечные шкатулки, веера с фотографиями.

Хозяин оказался белесый и рыхлый. Он ввел меня в свой кабинет и стал тягуче выпрашивать, действительно ли я нахожу в Маяковском талант и стоит ли, по-моему, издавать его книгу. В столовой давно уже начали ужинать, а «меценат» все еще томил меня своими расспросами. Это был пустой разговор, так как дело решали не мы, а те пучеглазые женщины. Удастся ли Владимиру Владимировичу привлечь их сердца к своей книге?

При первой возможности я поспешил из кабинета в столовую. Там было много гостей. Маяковский стоял у стола и декламировал едким фальцетом:

Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озверевает, и будет тереться,
ощетинит ножки стоголавая вошь.

У сестер хозяина были уксусно-кислые лица. Они приехали недавно из Лифляндии, и стиль Маяковского был для них внове.

«Этак он погубит все дело!» – встревожился я. Но Маяковский уже забыл обо всем: выпятил огромную нижнюю губу, словно созданную для выражения презрительной ненависти, и продолжал издевательским голосом:

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется — и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я — бесценных слов транжир и мот.

Самая его поза не оставляла сомнений, что стоголавою вошью называет он именно этих людей и что все его плевики адресованы им. Одна из пучеглазых не выдержала, прошипела что-то вроде «шреклик» и вышла. За нею засеменял ее муж. А Маяковский продолжал истреблять эту ненавистную ему породу людей:

Ищите жирных в домах-скорлупах
и в бубен брюха веселье бейте!
Схватите за ноги глухих и глупых
и дуйте в уши им, как в ноздри флейте.

Через десять минут мы уже были на улице. Книга Маяковского так и осталась неизданной.

Случай этот произошел так давно, что многие его детали я забыл. Но хорошо помню главное свое впечатление: Маяковский стоял среди этих людей как солдат, у которого за поясом разрывная граната. Я тогда впервые почувствовал, что никакие перемирия, ради каких бы то ни было целей, между ним и этими людьми невозможны, что в их жизни нет ни единой пылинки, которой он не отверг бы, и что ненависть к ним и к их трухлявому миру для него не стиховая декларация, но единственное содержание всей его жизни...

После этого мы сделали в Москве еще несколько столь же неудачных попыток найти для его книги издателя. Он даже обложку для нее приготовил: «Кофта фата». Обложка висела у него на стене, как плакат. Но издателей в ту пору в Москве было мало. В 1915 году он приехал в Петроград и, кажется, к началу весны поселился недалеко от столицы, в дачном поселке Куоккала (ныне Репино), где у меня была дача — наискосок от репинских «Пенатов».

Куоккала — на берегу Финского залива — песчаная, суровая, обильная соснами местность. Там, на пляже, торчат из воды валуны. Порою их совсем прикрывает волна, порою, когда море отхлынет, они лежат на песке неровной и длинной грядой.

По этим-то камням и зашагал Маяковский, бормоча какие-то слова.

Иногда он останавливался, закуривал папиросу, иногда пускался вскачь, с камня на камень, словно подхваченный бурей, но чаще всего шагал, как лунатик, неторопливой походкой, широко расставляя огромные ноги в «американских» ботинках и ни на миг не переставая вести сам с собою сосредоточенный и тихий разговор.

Так он сочинял свою поэму «Тринадцатый апостол», и это продолжалось часов пять ежедневно.

Пляж был малолюдный. Впрочем, люди и не мешали Маяковскому: он взглядывал на них лишь тогда, когда потухала его папироса и нужно было найти, у кого прикурить. Однажды он кинулся с потухшей папиросой к какому-то финну-крестьянину, стоявшему

неподалеку на взгорье. Тот в испуге пустился бежать. Маяковский за ним, ни на минуту не прекращая сосредоточенного своего бормотания. Это-то бормотание и испугало крестьянина.

Начала поэмы тогда еще не было. Был только тот отрывок, который ныне составляет четвертую часть:

Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
и вина такие расставим по столу,
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу
хмурому Петру Апостолу...

и т. д.

Этот отрывок Маяковский прочитал мне еще до приезда в Куоккалу, в Москве, на крыше своего «небоскреба». У него был хорошо разработанный план: «долой вашу любовь», «долой ваше искусство», «долой ваш строй», «долой вашу религию» — четыре крика четырех частей поэмы.

Теперь к этому отрывку прирастали другие. Каждый вечер, придумав новые строки, Маяковский приходил ко мне, или к Кульбину, или еще к кому-нибудь из куоккальских жителей и читал всю поэму сначала, присоединяя к ней те новые строки, которые написались в тот день. Эти чтения происходили так часто, что даже моя семилетняя дочь запомнила кое-что наизусть, и однажды, к своему ужасу, я услышал, как она декламирует:

...Любоуница,
которую
вылюбил
Ротшильд.

(«Любоуница» — так произносил Маяковский.) Иногда какая-нибудь строфа отнимала у него весь день, и к вечеру он браковал ее, чтобы завтра «выхаживать» новую, но зато, записав сочиненное, он уже не менял ни строки. Записывал он большей частью на папиросных коробках: тетрадок и блокнотов у него в то время, кажется, еще не было. Впрочем, память у него была такая, что никаких блокнотов ему и не требовалось: он мог в каком угодно количестве декламировать наизусть не только свои, но и чужие стихи и однажды во время прогулки удивил меня тем, что прочитал наизусть все стихотворения Ал. Блока из его третьей книги, страница за страницей, в том самом порядке, в каком они были напечатаны там (в издании «Мусагет»).

Я не встречал другого человека, который знал бы столько стихов наизусть. Иные стихи он напевал с оттенком иронии в голосе, словно издеваясь над ними и все же сохраняя (и даже подчеркивая) их музыку, их лирический тон. Как это ни странно, он особенно часто в ту пору напевал наряду со стихами Саши Черного «поэзы» своего антипода Игоря Северянина. «Ему, — вспоминает Лиля Брик, — доставляло удовольствие произносить северянинские стихи. Он всегда пел их на северянинский мотив (чуть перевернутый) почти всерьез».

За его издевательским тоном всегда чувствовалась искренняя увлеченность поэзией. Мемуаристка очень верно подметила, что, когда в 1915 году влюбленный в нее Маяковский декламировал стихи Анны Ахматовой, он «как бы иронизировал над собой (а не над поэзией Анны Ахматовой), сваливая свою вину на нее, иногда даже пел на какой-нибудь неподходящий мотив самые лирические нравящиеся ему строки. Он любил стихи Ахматовой и издевался не над ними, а над своими сантиментами, с которыми не мог совладать... Когда, — продолжает Л.Ю. Брик, — он жил еще один и я приходила к нему в гости, он встречал меня словами (Ахматовой):

Я пришла к поэту в гости.
Ровно полдень. Воскресенье.

В то время он читал Ахматову каждый день».

На все события своей жизни, даже самые мелкие, он откликался чужими стихами. Их запас у него был неисчерпаем. Позже, уже в Москве, во время какого-то диспута он сказал своим крикливым оппонентам, которых ему в конце концов удалось одолеть:

Весело бить вас, медведи почтенные.

(Некрасов)

А тогда, в 1915 году, он с восхищением повторял строки Пушкина, обращая их к Л.Ю. Брик в первые дни их знакомства:

Я знаю: жребий мой измерен,
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.

Но вернусь к воспоминаниям о его жизни в Куоккале.

Свои стихи он читал тогда с величайшей охотой всюду, где соберется толпа, и замечательно, что многие уже тогда смутно чувствовали в нем динамитчика и относились к нему с инстинктивной злобой. Некоторые наши соседи перестали ходить к нам в гости оттого, что у нас в доме бывал Маяковский.

Теперь это может показаться чудовищным, но когда Маяковский вставал из-за стола и становился у печки, чтобы начать декламацию стихов, многие демонстративно уходили. Известный адвокат Владимир Вильямович Бернштам, человек шумный и толстый, после первых же стихов Маяковского выбежал из-за стола, стуча и фыркая, и, когда я провожал его к дверям, охал, всхлипывал, хватался за голову, твердя, что он не может допустить, чтобы в его присутствии так преступно, коверкали русский язык.

Всемогущий Влас Дорошевич, руководитель «Русского слова», влиятельнейший журналист, с которым я, по желанию Владимира Владимировича, попытался познакомить его, прислал мне такую телеграмму (она хранится у меня до сих пор):

«Если приведете мне вашу желтую кофту позову околоточного сердечный привет».

Леонид Андреев, узнав, что я в дачном театрике прочитал лекцию о стихах Маяковского, прислал мне из Ваммельсуу свое стихотворение «Пророк», где между прочим писал:

Надену я желтую блузу
И бант завяжу до ушей,
И желтого вяпает в лузу
Известный Чуковский Корней.

Пойду я по крышам и стогнам,
Раскрасивши рожу свою,
Отвсюду позорно изогнан,
Я гимн чепухе пропою...

и т. д.

О политике мы с Маяковским тогда не говорили ни разу; он, казалось, был весь поглощен своей поэтической миссией. Заставлял меня переводить ему вслух Уолта Уитмена, издевательски, но очень внимательно штудировал Иннокентия Анненского и Валерия Брюсова, с чрезвычайным интересом вникал в распри символистов с акмеистами, часами перелистывал у меня в кабинете журналы «Аполлон» и «Весы» и по-прежнему выхаживал целые мили, шлифуя свое «Облако в штанах», —

Граненых строчек босой алмазник.

Поэтому я был очень изумлен, когда через год после начала войны, в спокойнейшем дачном затишье он написал пророческие строки о том, что победа революции близка.

Мы, остальные, не предчувствовали ее приближения и не понимали его грозных пророчеств. Скажу больше: когда в дачном куоккальском театрике, принадлежавшем Альберту Пуни, отцу художника Ивана Альбертовича Пуни, с которым дружил Маяковский,

я прочитал о поэзии Маяковского краткую лекцию, перед тем как он выступил со своими стихами, я не вполне понимал свои собственные утверждения о нем.

Я говорил о нем: «Он поэт катастроф и конвульсий», а каких катастроф — не догадывался. Я цитировал его неистовые строки:

Кричу кирпичу,
слов иступленных вонзая кинжал
в неба распухшего мякоть, —

и видел в этих стихах лишь «пронзительный крик о неблагополучии мира». Их внутренняя тревога была мне непонятна. Этот крик о неблагополучии мира так взбудоражил меня, что я в маленьком дачном театрике пытался истолковать Маяковского как поэта мировых потрясений, все еще не понимая, каких.

Понял я это позже, когда Маяковский с гениальной прозорливостью выкрикнул:

Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.
А я у вас — его предтеча...

III

В Куоккале жил тогда Репин. Он с огненной ненавистью относился к той группе художников, которую называл «футурней». «Футурня», со своей стороны, уже года три поносила его. Поэтому, когда у меня стал бывать Маяковский, я испытывал немалую тревогу, предвидя его неизбежное столкновение с Репиным.

Маяковский был полон боевого задора. Репин тоже не остался бы в долгу. Но отвратить их свидание не было возможности: мы были ближайшими соседями Репина, и поэтому он бывал у нас особенно часто.

И вот в одно из воскресений, когда Маяковский читал у меня на террасе отрывки из своей незаконченной поэмы, стукнула садовая калитка и вдали показался Репин. Он пришел неожиданно с одной из своих дочерей. Маяковский сердито умолк: он не любил, чтобы его прерывали. Пока Репин (помню, очень изящно одетый, в белоснежном отложном воротничке, стариковски красивый и благостный) с обычной своей преувеличенной вежливостью, медлительно и чинно здоровался с каждым из нас, приговаривая при этом по-старинному имя-отчество каждого, Маяковский стоял в выжидательной позе, словно приготовившись к бою.

Вот они оба очень любезно, но сухо здороваются, и Репин, присев к столу, просит, чтобы Маяковский продолжал свое чтение.

Спутница Репина шепчет мне: «Лучше не надо». Она боится, что припадок гнева, вызванный чтением футуристических виршей, вредно отзовется на здоровье отца.

Репин всегда был равнодушен к поэзии. Я часто читал ему «Илиаду», «Евгения Онегина», «Калевалу», «Кому на Руси жить хорошо». Слушал он жадно, не пропуская ни одной интонации, но что поймет он в стихах Маяковского, он, «человек шестидесятих годов»? Как у всякого старика, у него (думал я) закоренелые литературные вкусы, и новаторство Маяковского может показаться ему чуть не кощунством.

Маяковский в ту пору лишь начал свой творческий путь. Ему шел двадцать третий год. Он был на пороге широкого поприща. Передовая молодежь того времени уже пылко любила его, но люди старого поколения в огромном своем большинстве относились к его новаторству весьма неприязненно и даже враждебно, так как им чудилось, что этот смелый новатор нарушает своими стихами славные традиции былого искусства. Непривычная форма его своеобразной поэзии отпугивала от него стариков.

Маяковский начинает своего «Тринадцатого апостола» (так называлось тогда «Облако в штанах») с первой строки. На лице у него вызов и боевая готовность. Его бас понемногу переходит в надрывный фальцет:

Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифе!

Пронзительным голосом выкрикивает он слово «опять». И старославянское «грядет» произносит «грядёт», отчего оно становится современным и действенным.

Я жду от Репина грома и молнии, но вдруг он произносит влюбленно:

— Браво, браво!

И начинает глядеть на Маяковского с возрастающей нежностью И после каждой строфы повторяет:

— Вот так так! Вот так так!

«Тринадцатый апостол» дочитан до последней строки. Репин просит: «еще». Маяковский читает и «Кофту фата», и отрывки из трагедии, и свое любимое «Нате»:

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгий жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я — бесценных слов мот и транжир...

Репин восхищается все жарче. «Темперамент! – кричит он. – Какой темперамент!» И, к недоумению многих присутствующих, сравнивает Маяковского с Мусоргским.

Маяковский обрадован, но не смущен. Он одним глотком выпивает стакан остывшего чая и, кусая папиросу, победоносно глядит на сидящего тут же репортера «Биржевки», который незадолго до этого взирал на него свысока.

А Репин все еще не в силах успокоиться и в конце концов говорит Маяковскому:

— Я хочу написать ваш портрет! Приходите ко мне в мастерскую.

Это было самое приятное, что мог сказать Репин любому из окружавших его. «Я напишу ваш портрет» — эта честь выпадала немногим. Репин в свое время наотрез отказался написать портрет Ф.М. Достоевского, о чем сам неоднократно вспоминал с сожалением. Я лично был свидетелем того, как он в течение нескольких лет уклонялся от писания портрета В.В. Розанова.

Но Маяковскому — двадцатидвухлетнему юноше — он при первом же знакомстве сказал:

— Я напишу ваш портрет.

— А сколько вы мне за это дадите? – отозвался Маяковский.

Дерзость понравилась Репину.

— Ладно, ладно, в цене мы сойдемся! – ответил он вполне миролюбиво и встал, чтобы уйти (уходил он всегда внезапно, отрывисто, без долгих прощаний, хотя входил церемонно и медленно).

Мы всей компанией вызвались проводить его до дому.

Он взял Маяковского дружески под руку, и всю дорогу они о чем-то беседовали. О чем — не знаю, так как шел далеко позади, вместе с остальными гостями.

На прощание Репин сказал Маяковскому:

— Уж вы на меня не сердитесь, но, честное слово, какой же вы, к чертям, футурист!..

Маяковский буркнул ему что-то сердитое, но через несколько дней, когда Репин пришел ко мне снова и увидел у меня рисунки Маяковского, он еще настойчивее высказал то же суждение:

— Самый матерый реалист. От природы ни на шаг, и чертовски уловлен характер.

У меня накопилась груда рисунков Владимира Владимировича. В те годы он рисовал без конца, свободно и легко — за обедом, за ужином, по три, по четыре рисунка — и сейчас же раздавал их окружающим.

Когда Маяковский пришел к Репину в «Пенаты», Репин снова расхвалил его рисунки и потом повторил свое:

— Я все же напишу ваш портрет!

— А я ваш, — отозвался Маяковский и быстро-быстро тут же, в мастерской, сделал с Репина несколько моментальных набросков, которые, несмотря на свой карикатурный характер, вызвали жаркое одобрение художника:

— Какое сходство!.. И какой — не сердитесь на меня — реализм!

Это было в июне 1915 года. Вскоре у нас установился обычай: вечерами, после целодневной работы, часов в семь или восемь, Репин заходил ко мне, и мы вместе с Маяковским, вместе с моей семьей уходили по направлению к Оллиле, в ближайшую приморскую рощу.

Маяковский шагал особняком, на отлете, и, не желая ни с кем разговаривать, непрерывно декламировал сам для себя чужие стихи — Сашу Черного, Потемкина, Иннокентия Анненского, Блока, Ахматову.

Декламировал сперва как бы в шутку, а потом всерьез, по-настоящему.

Репин слушал его с увлечением, часто приговаривая: «Браво!»

Давида Бурлюка и других футуристов я познакомил с Репиным еще в октябре 1914 года, в начале войны. Они пришли к нему в «Пенаты», учтивые, тихие, совсем не такие, какими были в буйных своих декларациях. За обедом футуристы прочитали Илье Ефимовичу две оды своего сочинения; ода Василия Каменского кончалась так:

Все было просто нестерпимо.
И в простоте великолепен
Сидел Илья Ефимович
великий Репин.

Познакомившись с Бурлюком лично в Куоккале, Репин не то что примирился с ним, — этого не было и быть не могло! — а просто стал смотреть на него снисходительнее, не придавая никакого значения его парадоксам и придерживаясь беззлобной иронии во всех разговорах с ним. Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, присутствовавшая при этом свидании, мгновенно сочинила для моей «Чукоккалы» стихи:

Вот Репин наш сереброкудрый, —
Как будто с ним он век знаком!
Толкует с простотою мудрой,
И с кем? — с Давидом Бурлюком!

Искусства заповеди чисты,
Он был пророк их для земли.
И что же? Наши футуристы
К нему *покорно* притекли.

А портрета Маяковского Репин так и не написал. Приготовил широкий холст у себя в мастерской, выбрал подходящие кисти и краски и все повторял Маяковскому, что хочет изобразить его «вдохновенные» волосы. В назначенный час Маяковский явился к нему (он был почти всегда пунктуален), но Репин, увидев его, вдруг разочарованно вскрикнул:

— Что вы наделали!.. О!

Оказалось, что Маяковский, идя на сеанс, нарочно зашел в парикмахерскую и обрил себе голову, чтобы и следа не осталось от тех «вдохновенных» волос, которые Репин считал наиболее характерной особенностью его творческого облика.

— Я хотел изобразить вас народным трибуном, а вы...

И вместо большого холста Репин взял маленький и стал неохотно писать безволосую голову, приговаривая:

— Какая жалость! И что это вас угораздило! Маяковский утешал его:

— Ничего, Илья Ефимович, вырастут!

Всей своей биографией, всем своим творчеством Маяковский отрицал облик поэта как некоего жреца и пророка, «носителя тайны и веры», одним из признаков которого были «вдохновенные» волосы. Не желая, чтобы на репинском портрете его чертам было придано ненавистное ему выражение «не от мира сего», он предпочел обезобразить себя, оголив до синевы свой череп.

Где теперь этот репинский набросок, неизвестно.

К сожалению, дальнейшие отношения Маяковского и Репина для меня как в тумане. Смутно вспоминаю, что зимою того же года (или, может быть, год спустя), уже живя в Петрограде, Маяковский приехал ко мне вместе с Аркадием Аверченко, и мы пошли к Илье Ефимовичу в «Пенаты». Как они встретились, Маяковский и Репин, и о чем они говорили — не помню. Помню только: в столовой у Репина, за круглым столом, Владимир Владимирович стоит во весь рост и читает свою поэму «Война и мир» (не всю, а клочки и отрывки: она еще не была в ту пору закончена), а Репин стонет от восхищения и выкрикивает свое горячее: «Браво!»

Какими запасами молодости должен был обладать этот семидесятилетний старик, чтобы, наперекор всем своим привычкам и установившимся вкусам, понять, оценить и полюбить Маяковского!

Ведь Маяковский в то время совершал одну из величайших литературных революций, какие только бывали в истории всемирной словесности. В своем «Тринадцатом апостоле» он ввел в русскую литературу и новый, небывалый сюжет, и новую, небывалую ритмику, и новую, небывалую систему рифмовки, и новый синтаксис, и новый словарь.

Не было бы ничего удивительного, если бы все эти новшества в своей совокупности отпугнули старика передвижника. Но Репин сквозь чуждые и непривычные ему формы стиха инстинктом большого художника сразу учуял в Маяковском огромную силу, сразу понял в его поэзии то, чего еще не понимали в ту пору ни редакторы журналов, ни профессиональные критики.

IV

Издателя для своей книги Маяковский так и не нашел. «Новый сатирикон» — в лице Аверченко — принял было книгу к изданию и при этом почему-то потребовал, чтобы я написал к ней предисловие. Я написал. Вместо «Кофты фата» книга стала называться «Для первого знакомства», но в ней, я помню, все же остались отделы: «Кофта домашняя», «Кофта уличная» и пр. Цензура отнеслась к ней свирепо и даже не разрешила Маяковскому такой микроскопической вольности, как написание слов без твердых знаков, усмотрев в этой свободной орфографии чуть не потрясение основ государства. Книга была уже набрана, когда цензор потребовал, чтобы Маяковский во всех словах, которые кончаются на согласную букву, поставил бы твердые знаки. Поэтому на одной из сохранившихся у меня корректур толпятся целые фаланги этих букв, написанных рукою Маяковского. Почему книга не вышла из печати, не помню.

...На эстраде он вел себя вызывающе дерзко, импонируя толпе своей необыкновенной способностью к быстрым издевательским репликам, которыми он походя калечил людей, пытавшихся полемизировать с ним.

Стиль его издевательских реплик очень верно передан в известных записях Льва Кассиля. Записи относятся к более позднему времени, но и в те ранние годы Маяковский в публичных своих выступлениях держал себя столь же запальчиво.

Вот несколько отрывков из записей Льва Кассиля:

«— Маяковский, — кричит молодой человек, — вы что, полагаете, что мы все идиоты?

— Ну что вы! — кротко удивляется Маяковский. — Почему все? Пока я вижу перед собой только одного».

«Некто в черепаховых очках и немеркнущем галстуке взбирается на эстраду и принимается горячо и безапелляционно утверждать, что «Маяковский уже труп и ждать от его поэзии нечего». Зал возмущен. Оратор, не смущаясь, продолжает умерщвлять Маяковского.

— Вот странно, – задумчиво говорит Маяковский, – труп я, а смердит он».

«— Маяковский! Вы считаете себя пролетарским поэтом-коллективистом, а всюду пишете: я, я, я.

— А как вы думаете, Николай Второй был коллективистом? Он всегда писал: “Мы, Николай Второй...”»

«— Маяковский, каким, местом вы думаете, что вы поэт революции?

— Местом, диаметрально противоположным тому, где зародился этот вопрос...»

«— Ваши стихи слишком злободневны. Они завтра умрут. Вас скоро забудут. Бессмертие не ваш удел.

— А вы зайдете через тысячу лет. Там поговорим».

Искусством стихотворного экспромта он владел с такой же виртуозностью, как и искусством издевательской реплики. Я хорошо помню его за работой над сатирами РОСТА: в холодном и пустом помещении на полу разложены большие бумажные простыни, а он шагает среди них своей слоновьей походкой и быстро, несколькими штрихами, набрасывает карикатуры на Врангеля, Юденича, Ллойд-Джорджа и тут же, теми же кистями и красками, в какие-нибудь десять минут делает под этими карикатурами стихотворные подписи.

По собственному признанию поэта, он никогда в течение целого дня не прекращал своей работы над словом, постоянно держал себя в полной готовности к писанию стихов. «Даже гуляя по улице, – вспоминает Мих. Зощенко, — Маяковский бормотал стихи. Даже играя в карты, чтоб перебить инерцию работы, Маяковский... продолжал додумывать. И ничто — ни поездка за границу, ни увлечения, ни сон, — ничто не выключало полностью его головы. Известно, что Маяковский, выезжая, скажем, отдохнуть на юг, менял там свой режим... но для головы, для мозга он режима не менял».

«Работа ведется непрерывно», — сообщал Маяковский о своей писательской работе. Если вы хотите заниматься поэзией, говорил он, вам необходимо «постоянное пополнение хранилищ, сараев вашего черепа, нужными, выразительными, редкими, изобретенными, обновленными, произведенными и всякими другими словами». Он и пополнял эти «хранилища» с утра до вечера в течение всей своей писательской жизни, и я помню, как, познакомившись с каким-нибудь новым человеком, он долго не мог успокоиться, куда не придумывал рифмы к его имени или фамилии, даже в том случае, если имя было, предположим, Никифор, а фамилия — Аверченко.

У меня в моем рукописном альманахе «Чукоккала» сохранились два его экспромта. Возникли экспромты так.

Как-то в 1920 году Маяковский приехал на несколько дней в Петроград. Был он возбужден, говорлив и общителен. Таков он бывал всегда, когда ему удавалось закончить большую поэму, над которой он напряженно работал. Теперь он праздновал окончание поэмы «150 000 000» и приехал читать ее на петроградских эстрадах.

Поселился он в Доме искусств на Мойке. С утра до вечера в его комнате толпился народ — поэты, друзья, молодежь. Это не утомляло его. Он с любопытством выслушивал каждого, многих расспрашивал, со многими спорил. Речь его была полна каламбуров, экспромтов, эпиграмм и острот. Тогда же сочинил он стишки обо мне, мимоходом, среди разговора — сначала четыре строки, а через день остальные. Так как в ту пору он много работал в РОСТА, он и эти стишки озаглавил «Окно сатиры Чуक्रоста» и, когда записывал их, проиллюстрировал каждое четверостишие особым рисунком, в стиле своих агитационных плакатов. Первое четверостишие было такое:

Что ж ты в лекциях поешь,
Будто бы громила я,
Отношение мое ж
Самое премилое.

Последнее:

Скрыть сего нельзя уже:
Я мово Корнея
Третий год люблю (в душе!)
Аль того ранее.

Кто-то из присутствующих не без ехидства заметил, что в этих строках ядовитый намек на «Гимн критику», написанный Маяковским года четыре назад и направленный будто бы против меня. Маяковский промолчал и ни словом не возразил говорившему. Вначале я не придавал этому обстоятельству никакого значения, но, придя домой и перечтя «Гимн критику», почувствовал себя горько обиженным. «Гимн критику» очень злые стихи, и, если Маяковский не отрицает, что в них выведен я, нашим добрым отношениям конец. В тот же вечер я послал ему письмо, где говорил, что считаю его прямым и простым человеком и потому настаиваю, чтобы он без обиняков сообщил мне, верно ли, что в «Гимне критику» он изображает меня. Если это так, почему он ни разу за все эти годы даже не намекнул мне, что питает ко мне такие неприязненные чувства?

Маяковский ответил мне тотчас же:

«Дорогой Корней Иванович!

К счастью, в Вашем письме нет ни слова правды.

Мое «окно сатиры» это же не отношение, а шутка, и только. Если б это было — отношение — я моего критика посвятил бы давно и печатно.

Ваше письмо чудовищно по не основанной ни на чем обидчивости.

И я Вас считаю человеком искренним, прямым и простым и, не имея ни желания, ни основания менять мнение, уговариваю Вас — бросьте!

Влад. Маяковский

бросьте
до свидания».

По форме письмо это кажется резким, но по своему существу оно было проявлением большой деликатности. Чувствовалось, что Маяковский хочет раз навсегда, самым решительным образом, искоренить во мне обидную мысль, что его сатира имеет какое бы то ни было отношение ко мне. Мало того: через несколько дней он приписал к своей «Чукросте» такие стихи:

Всем с поясненье говорю:
Для шутки лишь «Чукроста».
Чуковский милый, не горюй,
Смотри на вещи просто.

Характерно, ему показалось оскорбительным самое предположение о том будто он может таить про себя неприязненные чувства к враждебным явлениям и лицам. Он бился всегда в открытую, и заподозрить его в затаенной вражде значило обидеть его.

Кроме этих стихов, у меня сохраняется еще одна рукопись Владимира Владимировича — «Ответы на анкету о Некрасове».

К сожалению, Маяковский относился к анкетам скептически и не верил, что они могут иметь какую бы то ни было познавательную ценность. Поэтому он ответил на мою анкету пародией, стремясь дискредитировать самый жанр подобных анкет. Его ответы, по крайней мере иные из них, меньше всего выражают подлинное его отношение к вещам, о которых я спрашивал в своем «анкетном листе». Вот эти ответы и вопросы:

1. Любите ли Вы стихи Некрасова? — Не знаю. Подумаю по окончании гражданской войны.

2. Какие считаете лучшими? — В детстве очень нравились (9 лет) строки: «безмятежней аркадской идиллии». Нравились по непонятности.

3. Как вы относитесь к стихотворной технике Некрасова? — Сейчас нравится, что мог писать все, а главным образом водевили. Хорош бы был в «РОСТА».

4. Не было ли в вашей жизни периода, когда его поэзия была для вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова? — Не сравнивал по полному неинтересу к двум упомянутым.

5. Как вы относились к Некрасову в детстве? — Пробовал читать во 2-м классе на вечере «Размышления». Классный наставник Филатов не позволил.
6. В юности? — Эстеты меня запугали строчкой «на диво слаженный возок».
7. Не оказал ли Некрасов влияния на ваше творчество? — Неизвестно.
8. Как вы относитесь к утверждению Тургенева, будто поэзия и не ночевала в стихах Некрасова? — Утверждения не знаю. Не отношусь никак.
9. О народолюбии Некрасова? — Дело темное.
10. Как вы относитесь к распространенному мнению будто он был человек безнравственный? — Очень интересовался одно время вопросом, не был ли он шулером. По недостатку материалов дело прекратил.

Влад. Маяковский».

О дальнейших своих встречах с Маяковским я расскажу, если разыщутся потерянные мною дневники, где я записывал под свежим впечатлением каждую, даже самую мимолетную, встречу с замечательными людьми той эпохи.

Эти мои воспоминания написаны в 1940 году — больше четверти века назад. Дневники мои так и не нашлись. Поэтому обо многом я не могу говорить с достоверностью и предпочитаю молчать, не полагаясь на стареющую память.

Но один случай твердо запомнился мне. 30 января 1930 года у нас в Ленинграде в театре Народного дома состоялась премьера комедии Маяковского «Баня». На этой премьере была моя жена. Она давно не видела Маяковского, чуть ли не с куоккальских дней — и ее поразила происшедшая с ним перемена. «Какой-то унылый, истерзанный». Она прошла к нему за кулисы. Он показался ей больным. В голосе его была безнадежность...

«Баня» в этот вечер провалилась. Публика отнеслась к ней враждебно. Но жена моя не придавала этому большого значения: она помнила, что враждебность аудитории в прежнее время никогда не смущала поэта, а, напротив, пробуждала в нем воинственный жар, волю к веселой борьбе и победе. Здесь ничего этого не произошло. Маяковский стоял, прислонившись к кулисе, — тихий, одинокий и глубоко несчастный.